

Валентин Яковенко

Томас Карлейль. Его жизнь и литературная деятельность



Жизнь замечательных людей

Валентин Яковенко

**Томас Карлейль. Его жизнь и
литературная деятельность**

«Public Domain»

Яковенко В. И.

Томас Карлейль. Его жизнь и литературная деятельность
/ В. И. Яковенко — «Public Domain», — (Жизнь
замечательных людей)

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Содержание

Глава I. Каменщик и его семья	6
Глава II. Юношеские годы и пора сомнений	10
Глава III. Переходное время	17
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Валентин Яковенко

Томас Карлейль. Его жизнь и литературная деятельность

Биографический очерк В. И. Яковенко

С портретом Карлейля, гравированным в Лейпциге Геданом



Глава I. Каменщик и его семья

Родина Томаса Карлейля. – Отец. – Его детство. – Характеристика. – Мать. – Общий строй семьи.

Небольшое торговое местечко Эклфекан, где родился Томас Карлейль, лежит милях в шести к востоку от Солуэйского залива. Местность эта не отличается особыми красотою, а в конце прошлого (XVIII. – *Ред.*) века она представляла еще довольно дикий уголок Шотландии. Лесистые холмы, прекрасные луга, Кумберландские горы на горизонте и шум морского прибоя, доносящийся по ветру, – вот та природа, среди которой протекло детство будущего «пророка» наших времен.

Жителей этой пограничной полосы тогда еще мало коснулась культура; благодаря тревожной жизни в эпоху, предшествовавшую объединению двух королевств, постоянным набегам и грабежам, они отличались суровыми и грубыми нравами, умели постоять за себя и на удар ответить ударом. Они обнаруживали больше склонности к разбою, чем к рабской покорности. Вместе с тем развивались среди них и разные религиозные секты. Суровые камероны и жестокие преследования были у всех еще в памяти во время детства Томаса Карлейля. Старые секты уступили место новым, но дикий в своей непосредственности и ожесточенный тяжелыми условиями жизни народ по-прежнему не признавал установленной церкви и разбивался на множество разнообразных религиозных толков.

В семье Карлейля сохранилось воспоминание, как один из его предков был несправедливо повешен за воровство скота. Однако семейные традиции не идут особенно далеко. Много времени спустя, когда Томас Карлейль стал знаменитостью, услужливые «антиквари» открыли, что Карлейли – обнищавшие потомки некогда богатой и знатной фамилии, переселившейся из Англии в Шотландию во времена Давида II, что в этой семье были также свои *лорды* и так далее. Но во всяком случае Томас родился от простого крестьянина, каменщика по профессии, а впоследствии фермера, и предки его, насколько сохранились о них воспоминания, были также простыми крестьянами, зарабатывавшими свой хлеб собственными руками.

Отец Томаса – Джеймс Карлейль – личность далеко не дюжинная. В этом суровом, лишенном образования каменщике-крестьянине лежали под спудом все дарования его великого сына. Джеймс мог бы тоже стать знаменитостью, если бы судьба не обрекла его на неустанный физический труд. В детстве он испытывал великую нужду. Его отец, и дед нашего Томаса, человек также сильный и непокладистый, тяготел больше к бродячей жизни и приключениям, мало заботился о своей семье, покидал ее и предоставлял ей самой промышлять о себе. Оставленные мать и дети часто голодали: овсяная похлебка составляла нередко всю их еду. Маленький Джеймс добыл как-то четыре картофелины (тогда картофель был еще редкостью) и припрятал их на черный день; но, увы, они проросли. «Бедные дети! – восклицает Карлейль в своих „Воспоминаниях“, – они должны были бороться и добывать сами себе одежду и пищу!» Джеймс не отказывался ни от какой работы: занимался вязаньем, крыл крыши соломой и тростником, но больше всего промышлял охотой на зайцев. Нужда закалила его и воспитала в нем настоящего стойка. По счастливой случайности в их доме поселился каменщик, который вскоре женился на его старшей сестре и обучил всех мальчиков своему ремеслу. Таким образом Джеймс бросил случайные занятия; из него вышел образцовый мастер своего дела. В юноше были задатки глубокой религиозности; он скоро подпал под влияние одного родственника и сделался убежденным верующим сектантом. Его жизнь, замечает по этому поводу Томас, озарилась небесным светом; он стал человеком. Небольшая группа религиозных отщепенцев построила в Эклфекане свою молельню – убогое здание, «покрытое вереском», – избрала проповедника и сурово проводила в жизнь свои

религиозные верования. «Этот прекрасный союз, эта убогая, крытая вереском молельня, этот первобытный проповедник Евангелия» имели на Томаса, по его собственному признанию, в высшей степени благотворное влияние.

Джеймс Карлейль был женат два раза: первая жена умерла вскоре после брака, оставив одного только сына; от второй жены, Маргарет Эйткин, Джеймс имел много детей, в том числе первенца Томаса. «Во многих отношениях, – говорит Томас Карлейль в „Воспоминаниях“, – я считаю своего отца самым интересным человеком, какого только встречал когда-либо». Он отличался громадными природными дарованиями. Его блестящая смелая речь обильно, несмотря на всю его необразованность, лилась, питаемая неиссякаемыми источниками его душевных сокровищ; она изобиловала метафорами, краткими меткими выражениями и словами, определенно, живо, ясно, точно в солнечном свете рисовавшими предмет, о котором шла речь. «Я никогда не слышал подобной речи», – замечает Томас. Он не имел обыкновения клясться, да ему и незачем было: слово, вырвавшееся из его уст в минуту возбужденного состояния, проникало, точно раскаленная стрела, в самое сердце человека и производило более сильное впечатление, чем какая угодно клятва. Он никогда не говорил о своих горестях и неприятностях (добродетель, которой, замечает Томас, мне следовало бы научиться), оставался совершенно равнодушным к людскому говору и суждениям и вместе с тем пользовался всеобщим уважением окружавших его людей. Человек всегда должен иметь в виду труд, в труде весь смысл его существования – вот великая истина, которую Джеймс Карлейль понял и усвоил, можно сказать, инстинктивно, благодаря своему прирожденному здравому смыслу, так как он был совершенно лишен того, что мы называем образованием. Пустую болтовню он ненавидел, но с удовольствием выслушивал рассказы о предметах, представлявших для него интерес, и проводил целые дни в беседе. Если судить о нем по числу сказанных слов, то его придется признать скорее за молчаливого человека. Он в немногих словах умел обрисовать целую жизнь, сразу осветить целый вопрос и так далее.

Мы все боялись его, говорит Томас, так как он отличался вообще раздражительным, холерическим темпераментом, хотя никогда не поддавался чувству гнева, никогда не доходил до бешенства. Этот гнев скорее вдохновлял его и давал ему силу глубже проникать в предметы. Нужно было быть действительно отважным человеком, чтобы устоять и не струсить перед его пылающими негодованием глазами, не устрашиться его голоса, всегда громившего всякую неправду. Несмотря на глубокую серьезность, даже суровость, это был человек, способный смеяться «во всю плотку» и от всего сердца, – человек вообще чуткий и отзывчивый; нередко можно было заметить слезы на его глазах; при чтении Библии голос его дрожал и губы кривились. Но только раз Томас видел его в припадке отчаяния, именно во время серьезной болезни жены.

«По справедливости я могу назвать его, – продолжает свои „Воспоминания“ сын, – человеком отважным. Он не боялся человеческого лица: он боялся одного только Бога. Вообще, разве я не должен радоваться, что Бог дал мне такого отца, что с самых юных лет я всегда имел перед собою образец настоящего человека? Пусть же послужит он *мне* примером! Пусть мои книги будут так же хороши, как его поступки!»¹

Увы, в наши дни лжеобразования только среди так называемых необразованных людей, то есть людей образованных опытом, вы можете встретить еще *человека*. Я горжусь своим отцом-крестьянином и ни за что не променял бы его ни на какого короля... Я обязан ему возвышающим, вдохновляющим примером...»

Однако дети чувствовали себя связанными в присутствии этого сурового отца: они любили его, но не смели открыто выражать свою любовь; он казался им недоступным. Даже мать Томаса, как она впоследствии сама признавалась, никогда не могла понять мужа и гово-

¹ Карлейль написал воспоминания о своем отце в начале своей литературной карьеры.

рила, что ее любовь и ее удивление перед ним всегда наталкивались на какую-то преграду. Только впоследствии, когда сам Томас возмужал и пользовался большим уважением со стороны отца, он освободился от этого невольного стеснения и мог свободно общаться с ним.

Мать Карлейля, кальвинистка, представляла собой воплощение религиозности и нежно любила своего первенца. Она неустанно заботилась как о его физическом здоровье, так и о духовной чистоте, в особенности о последней – о его религиозности. Если в отце мы находим уже все задатки, развившиеся полным цветом в сыне и из простого каменщика сделавшие его гением современной Англии, то в заботливой, любящей матери – беззаветно преданное сердце, легко и свободно отзывавшееся на все его скорби. Несмотря на то, что Карлейль не разделял впоследствии ее верований, чего она страшилась больше всего, между ними сохранились самые трогательные, самые нежные отношения. Суровая пуританка научилась даже писать, чтобы поддерживать непосредственную связь с сыном.

Само собою понятно, что общий строй семьи, образованной двумя такими личностями, не мог отличаться особенной легкостью и той буржуазной жизнерадостностью, которая составляет обычный семейный идеал в наше время. Это были серьезные, сурово религиозные, вечно трудящиеся люди, и семья их была религиозная, серьезная, трудовая.

Труд каменщика не приносил особенно больших барышей. Сто фунтов стерлингов (тысяча рублей) – вот наивысший годовой заработок, о каком только мог мечтать честный каменщик, а содержание девяти душ детей требовало немалых расходов.

Поэтому известное стеснение и тягость всегда чувствовались в доме Карлейлей, хотя до нужды дело не доходило. Одним словом, представьте себе нашу большую крестьянскую семью, принадлежащую к какому-нибудь сектантскому толку, – семью средней зажиточности, живущую исключительно трудами рук своих, поставьте во главе ее личностей в высшей степени одаренных от природы, серьезных и приверженных своему учению, и вы получите подобие семьи, вскормившей своеобразный гений Карлейля. При другой обстановке он, по всей вероятности, погиб бы бесследно для человечества. Там, «на верхах», куда неизбежно подымается со временем всякое дарование, слишком уже все противоречило основным задаткам Карлейлева гения, и только благодаря нерушиму фундаменту, заложенному в детстве, он мог выйти победителем из столкновения с этими чуждыми ему «верхами» современного общественного уклада. «Нас всех с детства, – говорит он в своих „Воспоминаниях“, – приучили к мысли, что труд (физический и умственный) – единственное дело, которое обязательно должно делать, и нас постоянно поощряли наставлениями и примерами делать его хорошо. Затем, нас вечно окружала атмосфера непреклонного авторитета. С первого же момента жизни мы чувствовали, что наше собственное желание часто не значит еще ничего. Нельзя сказать, чтобы это была радостная жизнь (но что такое жизнь?), однако, во всяком случае жизнь спокойная, правильная и, что важнее всего, – здоровая, какая встречается вообще крайне редко. Мы все были скорее молчаливы, чем болтливы; но зато в том немногом, что говорилось, всегда было известное содержание».

Следует еще при этом заметить, что семья Карлейлей вовсе не отличалась тем пассивным прекраснодушием, которое нередко сопутствует религиозности; напротив, Карлейли во всем околоте пользовались славой людей, умеющих постоять за себя, скорее даже задорных и буйных, чем безответных и пассивных.

Итак, идеи глубокой и искренней религиозности, крайне серьезного отношения к жизни, трудового начала как основы всего, активного, деятельного существования, долга, авторитета, наконец, «великого царства молчания» и многие другие, через несколько десятков лет устами Карлейля провозглашенные перед удивленным английским обществом, привыкшем, по крайней мере в своих верхних слоях, относиться с совершенно иной точки зрения к жизни, – все эти идеи маленький Том взял из ячейки, сложенной грубыми руками

простого крестьянина. В его жизни мы имеем редкий уже в настоящее время пример того, каким образом семья может содействовать развитию дарования.

Глава II. Юношеские годы и пора сомнений

Школа. – Шотландские университеты и студенчество. – В Эдинбургском университете. – Карлейль – школьный учитель. – Мечты о литературной деятельности. – Эдвард Ирвинг. – Первая симпатия. – Finis мыслям о священническом звании и учительству. – В Эдинбурге. – Сомнения. – «Нет, я не принадлежу тебе!»

Томас Карлейль родился 4 декабря 1795 года; он, как я сказал выше, был первым ребенком Джеймса от второй жены. Первоначальной грамоте научила его мать, а некоторые сведения из арифметики сообщил отец. Пяти лет Томас уже посещал деревенскую школу и к семи годам овладел вполне английской грамотой. Идти дальше значило браться за латынь; но ее не знал даже сельский учитель.

Соседи советовали отцу Карлейля на этом и остановиться, говоря: «Воспитай мальчика, – а он вырастет и станет презирать своих необразованных родителей». Однако мужественный каменщик не побоялся трусливых пророчеств и отправил своего сына в Аннанскую школу, нечто вроде наших классических гимназий. «С благодарной верой, – говорит Карлейль, – он открыл мне дверь в тот мир, который для него остался навсегда недоступным». Отправляя своего любимца, мать взяла с него слово, что он не станет впутываться в драки с товарищами-школьниками и не будет давать сдачи. Всякий побывавший в школе поймет, как дорого бедному мальчику обошлись эти обещания. Его нещадно преследовали; он, при своем страстном и даже буйном нраве, горел желанием постоять за себя, но крепился и уходил от товарищей. Наконец ему стало невмогуту. Однажды он бросился на самого большого забияку в школе и стал бешено колотить его. Последовала потасовка. Том был побит, но и противник порядочно пострадал от его кулаков. С этих пор товарищи перестали его преследовать: они убедились, что его трогать опасно.

В Аннанской школе Карлейль изучал латинский и французский языки, арифметику, алгебру, геометрию и получил общие сведения из географии. Он с жадностью прочитывал все книги, какие только мог достать. Отец, внимательно следивший за успехами своего сына, решил продолжать образование дальше и отправить его в Эдинбургский университет. Тому было всего лишь четырнадцать лет, когда совершилось это важное для него событие. Быть может, нелишне будет сказать несколько слов о шотландских университетах того времени и о студентах, которые весьма резко отличались от английских и своим демократизмом напоминали наше студенчество недавнего прошлого; но это было еще более демократическое, настоящее крестьянское студенчество. Юноши, посещавшие в ту пору шотландские университеты, были в большинстве случаев детьми таких же бедных родителей, как и Карлейль. Они прекрасно знали, чего стоило их родителям уделять из своих ничтожных заработков даже те ничтожные крохи, на которые они существовали в университетском городе, и им приходилось дорожить своим временем, стараясь приобрести возможно больше знаний в возможно меньший период. Они могли слушать лекции только в продолжение пяти месяцев, а затем расходились в разные стороны: кто становился учителем, кто работал на ферме, кто принимался за ремесло своего отца и таким образом добывал сумму, необходимую для оплаты своего обучения. Каждый такой студент был обыкновенно надеждой семьи, самым выдающимся ребенком, на которого решались затратить последние средства, лишь бы вывести его в люди. Свои путешествия в университет и из университета домой эти истинные дети народа совершали пешком, не потому, конечно, чтобы они придерживались самодовлеющего принципа воздержания от всяких усовершенствованных путей сообщения, а просто потому, что у них не было средств. Четырнадцати-пятнадцатилетнему юноше приходилось самому заботиться об устройстве своей жизни в неизвестном городе. Он приходил в Эдинбург или Глазго, определялся в университет, подыскивал помещение по своему карману и

принимался за умственную работу, чтобы через пять-шесть месяцев снова возвратиться к тяжелому физическому труду. Из дому он получал съестные припасы: овсяную муку, картофель, соленое масло и изредка, что составляло уже роскошь, яйца – и отправлял домой свое грязное белье, где оно мылось, чинилось и так далее. Таким образом, между юношей и его семьей поддерживались постоянные сношения; но что касается поведения, то он представлялся вполне самому себе; университет также не вмешивался в его жизнь. При таких условиях особенное значение получают товарищества, возникающие обыкновенно среди молодежи; они оказывают громадную поддержку как в материальном, так и в нравственном отношении. Шотландские студенты из народа группировались в своего рода землячества, делившиеся своими материальными достоинствами и умственными капиталами, образовывали клубы, где обсуждали разные вопросы – научные и житейские, спорили и так далее. Такова была их обычная житейская школа, и в воспитательном отношении, то есть в смысле образования независимого самостоятельного характера, едва ли возможна какая-либо иная лучшая школа жизни.

В ноябре 1809 года Томас Карлейль, под присмотром некоего студента «Тома малого», юноши года на два, на три старше его, отправился пешком в Эдинбург; отец и мать его провожали до большой дороги. Образ любящей матери, трогательно прощающей со своим любимцем, трепещущей за его будущность, живо рисуется ему 57 лет спустя после этого события. Если Карлейль унаследовал от отца некоторые особенности своего гения, то матери он в значительнейшей степени обязан надлежащим развитием этих способностей: она с детства окружила его атмосферой любви, истинной, правдивой религиозности, кальвинистской стойкости и непреклонности; быть может, благодаря только любящей матери и – в позднейший период жизни – любящей жене, Карлейль не погиб под тяжестью своих дарований и физических мук, так как только *любовь* могла смягчить эту страшную *серьезность*, граничащую нередко с жестокостью.

В Эдинбургском университете Карлейль не нашел сколько-нибудь выдающихся профессоров, да и не мог найти, так как университет этот был беден, а выдающиеся профессора обыкновенно дорого себя ценят. Об одном только профессоре – математике Лесли, сумевшем отличить юношу и пробудить в нем любовь к своему предмету, Томас сохранил добрые воспоминания, а остальных зло осмеял впоследствии в своем известном «*Sartor Resartus*».

Застенчивый и малосообщительный, Карлейль сошелся лишь с немногими товарищами по студенческой скамье, такими же крестьянскими детьми, как и он сам; но в этом тесном кружке он пользовался большим влиянием и играл первую роль. К нему обращались во всех затруднительных случаях за советом; его речи невольно приковывали к себе всеобщее внимание, так как были «уж слишком насмешливы для такого молодого человека», как говорили студенты постарше. В письмах его называют «Джонатаном» (имеется в виду Свифт) или «деканом» (тоже). Сотоварищи не могли не заметить, что он не похож на других, что он превосходит других и своим характером, и своим умом; уже с этого времени, даже еще раньше, о нем говорили: «Известно, какое отвращение Том питает ко всему неестественному, деланному». Таким образом, с ранних пор сотоварищи предрекали ему великую будущность в том или ином роде. По настойчивому желанию родителей Карлейль готовился к священническому званию. Но уже на студенческой скамье он сознавал, что не имеет ни малейшей склонности к этой профессии, что впереди его ожидают тяжелые сомнения, делающие ее невозможной для него, и что дело тут, собственно, не в формализме, который не заключает в себе ничего бесчестного, раз ему предшествует вера, а именно в отсутствии такой действительной *веры*. Однако до принятия священнического сана было еще много времени. Если бы он остался в Эдинбурге, то ему пришлось бы целых четыре года слушать богословские лекции; он предпочел занять место учителя математики в Аннанской школе и уехал; таким образом, по существовавшим правилам только через шесть лет, при условии,

что он будет ежегодно являться в Эдинбург и произносить там пробную проповедь, он мог получить звание священника. Но Карлейль не чувствовал также никакой симпатии и к учительской профессии. Он просто хотел освободить отца от дальнейших издержек и скопить сколько-нибудь денег, которые могли ему пригодиться в будущем. Свои учительские обязанности он исполнял вполне добросовестно, но с местным обществом не сходилась, напротив, уединялся, погрузившись всецело в свои книги, особенно в «Principia» Ньютона. Его переписка с университетскими друзьями за это время обнаруживает неизменный рост умственных сил; его умственный горизонт постепенно расширяется; он научается ценить Шекспира, хотя еще и не восхищается им так, как впоследствии; «Исповедь» Руссо раскрывает ему, что он вовсе не круглый дурак, и так далее. «О Том, – пишет Карлейль к одному сотоварищу, – что ты за безумное, лъстивое создание! Ты толкуешь о будущей моей известности в связи с литературной историей девятнадцатого века! Увы, мой добрый друг, если все мои фантазии, мечты и думы будут сметены прочь метлой забвения, – литературная история любого столетия не потерпит от этого ни малейшего ущерба. Но не думай, что я отношусь совершенно безучастно к литературной славе. Нет: небесам ведомо, что с тех пор, как я вообще сознательно отношусь к жизни, желание приобрести известность стало моим главным желанием. О судьба!.. Ты указуешь каждому смертному его место на этой грязной планете, возлагаешь (когда это тебе угодно) королевские и иные короны, раздаешь саны и достоинства, облакаешь властью, наделяешь деньгами и пудингами великих, благородных и тучных особ нашей земли! Соболаговли, дабы я мог достигнуть литературной славы, сохраняя в сердце своем *непреклонную независимость, недоступную ни твоим милостям, ни твоим превращениям*; и пусть тогда голод будет моим уделом – я все-таки буду улыбаться при мысли о том, что не был рожден королем...» Девятнадцатилетний Карлейль как бы предвосхищает свою действительную судьбу. Еще далеко то время, когда он выступит на литературном поприще, но он выступит. Он не будет искать, по крайней мере, сознательно, славы, но она придет, придет несмотря на то, или, вернее, именно *потому*, что он до конца сохранит непреклонную независимость своей мысли и своего чувства, встретит лицом к лицу нужду и всеобщее равнодушие, но не отступится ни на йоту от своих убеждений. В конце концов он победит как истинный герой и, «не рожденный королем», станет действительно одним из первых людей великой литературной республики.

В Аннанской школе Карлейль учительствовал недолго; скоро его пригласили занять место в Киркольдской школе, где он должен был выступить как бы соперником Эдварда Ирвинга, ставшего впоследствии знаменитым «чудотворцем», «пророком» и т. д., – во всяком случае личностью крайне замечательной. Однако вместо соперничества между молодыми людьми, жаждавшими идеальной жизни, установилась самая тесная дружба, у Ирвинга была порядочная библиотека, и Карлейль с жадностью накинудся на чтение; он прочитывал по целому тому Гиббона в один день. Это сочинение произвело на него сильное впечатление, сохранившееся до самой старости. За чтением следовали беседы и споры. Ирвинг мечтал о великой будущности для себя в качестве проповедника, а для Карлейля – в качестве писателя, и они с юношеским пылом обсуждали и решали всевозможные философские, религиозные и общественные вопросы. В свободное от занятий время они предпринимали отдаленные прогулки, о которых Карлейль на старости лет вспоминал с такой теплотой. «В этом мире существует немного благ более ценных, чем знания, – пишет он своей матери, – и юность есть именно пора, когда следует приобретать его». И Карлейль не растрачивал попусту своей молодости. Несмотря на старания Ирвинга, он и здесь, в Киркольди, не сошелся с обществом и продолжал вести уединенную и замкнутую жизнь. Он не мог приспособиться к тону местного провинциального общества и потому не пользовался его расположением. Его не понимали, да и он сам не понимал себя и не мог еще сознательно отнестись к бродившим в нем силам. Но сердце одной молодой девушки, к которой сумрачный, подчас язвитель-

тельный и насмешливый юноша был равнодушен и которая сама питала к нему симпатию, предугадало в Карлейле великого человека. Им, однако, не пришлось сойтись ближе: положение Карлейля было еще слишком неопределенно и шатко, чтобы он мог мечтать о семейной жизни. Любопытно прощальное письмо этой девушки. «На прощание, мой дорогой друг, позвольте мне дать вам один совет. Постарайтесь смягчить свое сердце, развить в себе более кроткие чувства. Овладейте слишком экстравагантными проявлениями своего ума. Со временем ваши дарования должны получить всеобщую известность... Гений сделает вас великим. О, если бы добродетель сделала вас любящим!.. Постарайтесь добрым и кротким обращением заполнить страшную пропасть, лежащую между вами и обыкновенными людьми... Зачем скрывать от людей доброту, которая присуща в действительности вашему сердцу?.. Пусть ваш свет озаряет путь людям; не считайте их недостойными ваших забот и внимания... Ваш труд в этом отношении не пропадет даром... Как приятно, должно быть, пользоваться любовью и привязанностями окружающих людей!..» Любовь обладает прозорливостью, и неопытная девушка видела то, что лишь через десятки лет признали другие. Они расстались навсегда. Много лет спустя Карлейль встретил ее в Гайд-парке; она была уже важной леди, женой большого чиновника; они молча посмотрели друг на друга, и глаза ее ясно сказали ему: «Да, да, это – вы...»

Чтение Гиббона усилило сомнения, волновавшие Карлейля относительно религиозных вопросов. «Я ушел к себе в комнату, – рассказывает Карлейль про критическую минуту своей внутренней борьбы по поводу пасторства, – и тут меня обступили со всех сторон призраки из темных бездн вечной гибели: сомнение, страх, неверие, отчаяние, глумление. И я отбивался от них в невыразимой тоске...»

Как ни горько было его родителям, но им пришлось расстаться с мечтой увидеть своего сына пастором. Раз два Карлейль произносил в Эдинбурге пробные проповеди, но на этом дело и кончилось. Когда он, все еще колеблющийся, прибыл в Эдинбург в третий раз с этой же целью, то одно ничтожное обстоятельство положило конец его колебаниям. По заведенному порядку он должен был записать свое имя и внести плату, и он отправился, чтобы сделать это, но не застал дома того, кто был нужен. «Очень хорошо, очень хорошо! – сказал он себе. – Пусть это будет *finis* всем моим попыткам сделаться священником».

Однако и учительство не удовлетворяло Карлейля. Скоро школа в Киркольди и киркольдское общество ему смертельно надоели; с отъездом Ирвинга в Эдинбург он остался снова в одиночестве и решил, бросив все, уехать также в Эдинбург. «Лучше я погибну где-нибудь, чем буду продолжать заниматься этим ненавистным делом», – думал он. За время учительства он успел сберечь около 900 рублей, которых, по его расчету, должно было хватить ему, пока он подыщет себе занятие. Семья не сочувствовала его затее, но ни отец, ни мать не позволили себе ни малейшего возражения и продолжали помогать ему чем могли.

Сначала Карлейль, любивший вообще математику, думал заняться изучением инженерного искусства, но скоро бросил эту мысль и принялся за изучение юридических наук. Положение адвоката привлекало его своей независимостью: «Особую прелесть в моих глазах, – пишет он, – имеет именно то, что профессия адвоката не требует презренного низкопоклонства». Однако через некоторое время мнение его на этот счет также изменилось: чтение юридических книг, лекций Юма, беседы с юристами-практиками привели его к убеждению, что профессия эта, при всей своей глупости и омерзительности, ничего, кроме денег, не дает. «Раз порешив с лекциями Юма, – говорит он, – я навсегда расстался с мыслью сделаться адвокатом».

Так перескакивал его беспокойный ум с одного предмета на другой, нигде не находя удовлетворения, ибо запросы его были слишком велики. А между тем внешние обстоятельства становились все тяжелей и тяжелей. Частные уроки подыскивались с трудом да и оплачивались крайне скудно; случайно Карлейль получил незначительную работу для одной

энциклопедии, на весьма скверных условиях; денег она принесла ему немного, но зато дала некоторое нравственное удовлетворение. Ирвинг, начинавший уже входить тогда в моду благодаря своим проповедям, принимал в нем самое теплое участие и, поддерживая стремления к литературе, пытался устроить его при журнале или достать выгодные уроки; но все безуспешно. Ко всем этим неудачам прибавились еще чисто физические страдания: у Карлейля развилась диспепсия, от которой он никогда уже не мог освободиться вполне, и которая мучила его особенно жестоко в эти молодые годы, словно, говорит он, крыса грызла дыру в животе. Его не страшила нужда. Матери он писал: «Один французский писатель, Д'Аламбер (принадлежащий к немногочисленному кругу людей, действительно заслуживающих почетного титула честных), утверждает, что всякий посвящающий свою жизнь науке должен взять своим девизом следующие слова: „свобода, истина, бедность“, так как тот, кто боится бедности, никогда не может достигнуть ни свободы, ни истины». И Карлейль принимал бедность как нечто неизбежное для себя. Но ему приходилось считаться не только с бедностью; «истина» и «свобода» дались ему лишь после мучительной внутренней борьбы, о которой он сам с ужасом вспоминал впоследствии.

Пока Ирвинг оставался в Эдинбурге, их разговоры, споры и мысли вращались больше около общественных вопросов: положения народа, социальной несправедливости и так далее; они негодовали и радикальничали; но с отъездом Ирвинга в Глазго Карлейль снова остался один; он и здесь, в Эдинбурге, не сумел завязать знакомств. Тогда-то наступило для него действительное испытание, и перед ним встали в своем обнаженном виде глубочайшие, «вечные» вопросы: что такое этот мир и что такое эта человеческая жизнь? Или, как он говорит о Магомете в своих *«Героях»*: «Что такое я? Что такое эта бесконечная материя, среди которой я живу, и которую люди называют Вселенной? Что такое жизнь, что такое смерть? Чему я должен верить? Что я должен делать?» Карлейль не мог обойти молчанием все эти вопросы: он не мог оставить их без ответа и успокоиться на одном лишь отрицательном отношении к старым формам верований. Воспитанный в религиозной атмосфере, он полагал, что недостаток веры есть грех, но что вместе с тем он загубит свою душу, если станет притворяться, будто бы верит в то, что его разум считает ложью.

Физическое и нравственное состояние Карлейля сильно встревожило родных; они не имели особых познаний, не допускали никаких сомнений относительно своей веры и готовы были думать, что Томасом овладел злой дух, в особенности когда он приехал домой и бесцельно скитался, ничего не делая, ничего не читая и не зная, куда деться от тоски. Отец не тревожил его расспросами и предоставил всецело самому себе; но мать страдала жестоко, глядя на него. Ведь это было ее любимое детище, ее гордость; она не могла удержаться от сетований и увещаний; ее терзало не столько неопределенное и безотрадное положение ее сына, сколько его религиозные сомнения. И нужно видеть, с какой любовью и заботливостью Том старался убедить ее, что, в сущности, он продолжает верить в то же самое, во что верит и она, что изменилось только, быть может, внешнее выражение его верования и так далее. «Наши характеры, – пишет он ей, – имеют гораздо больше общего, чем вы думаете, и наши убеждения, хотя они и облекаются в различные одежды, также, я это хорошо знаю, все еще сходны по существу. Я с почтением отношусь к вашим религиозным чувствам и уважаю вас за них больше, чем уважал бы, если бы вы были самая знаменитая женщина в мире, но не имели бы их...» Но в беседе с Ирвингом он признался, что не думает уже больше, как он, Ирвинг, о христианской религии и что следует отложить всякие надежды на то, что он снова возвратится когда-либо к своим прежним верованиям.

Почти целых три года Карлейль мучился этими безысходными сомнениями, и только в 1821 году, когда ему было уже 26 лет, в нем произошел радикальный поворот от отрицания к утверждению, а затем наступил медленный процесс развития положительного мирозерцания. Этот поворот, или это «крещение огнем», как называет его Карлейль, описан им

с автобиографической точностью в сочинении «Sartor Resartus», где под профессором Тейфельсдреком он подразумевает, собственно, самого себя... Преисполненный некогда религиозностью профессор не скрывал, что он стал совершенно нерелигиозным человеком! «Тяжелое сомнение, – говорит он, – превратилось в неверие; туча за тучей грозно надвигаются на вашу душу, пока все не затянет неподвижный беззвездный мрак преисподней...» Для тех, кто размышлял о человеческой жизни и к своему счастью понял, что вопреки теоретической и практической философии «прибылей и убытков» душа не есть синоним желудка; кто понял, следовательно, говоря словами нашего друга, что «для благополучия человека, собственно, необходимо одно – вера»; понял, как благодаря вере мученики, люди слабые в других отношениях, могут радостно переносить позор и нести свой тяжкий крест, а без нее светские люди кончают свое жалкое существование самоубийством среди окружающей их роскоши, – для таких людей будет ясно, что утрата религиозной веры в глазах чистого, нравственного существа равносильна утрате всего. Несчастный молодой человек! Все твои язвы, причиненные долго длившимися лишениями, все раны, нанесенные острым кинжалом лживой дружбы и лживой любви, все болячки твоего столь жизнерадостного сердца залечились бы, если бы только ты не утерял живительной силы искренней веры! В порыве своих диких чувств ты мог бы воскликнуть тогда: «Значит, не существует никакого Бога! Или, в лучшем случае, это Бог отсутствующий, успокоившийся навеки после первого субботнего дня, расположившийся в стороне от своей вселенной и спокойно *созерцающий* ее дела! А слово *долг* не имеет никакого значения? Разве то, что мы называем долгом, не божественный вестник и указатель пути, а лживый призрак, порожденный желанием и страхом? Счастье спокойной совести! Разве Павел из Тарса, которого люди, удивляясь, считают с тех пор святым, не чувствовал, что *он* был величайшим грешником... Разве героическое воодушевление, называемое нами добродетелью, есть только страсть, только кипение крови, волнующейся *выгодным* для других образом?...» И блуждающий скиталец подымал вопрос за вопросом и загонял их в пещеру сибиллы-судьбы; но ответом ему было одно только эхо! Прелестный некогда мир казался ему теперь страшной пустыней, где слышались лишь завывания диких зверей и пронзительные крики отчаивающихся, исполненных ненависти людей. И не видно было больше столпа – днем облачного, а ночью огненного, – который указывал бы надлежащий путь... Люди, как и он сам, представлялись будто запроданными безверию; древние храмы с их богами, остававшиеся долгое время во власти непогоды, разрушились, и все спрашивали: «Где Бог? Мы не видели его никогда своими глазами...»

Несмотря на это, нашего профессора-Диогена (понимайте – Карлейля) нельзя было бы все-таки назвать нечестивым. Напротив, в этот период сомнений относительно существования самого Бога он даже более чем когда-либо был служителем Его. Сомнения и вопросы причиняли ему несказанное горе, но он не переставал питать искренней любви к истине и не отступался от нее ни на йоту. «Истина! – восклицает он, – хотя бы небеса раздавили меня за нее! Ни малейшей фальши, хотя бы за отступничество сулили целый рай!» То же он чувствовал и относительно поступков, дела. Если бы божественный вестник возвестил ему с облаков: «*Вот что ты должен делать*», или если бы эти же слова написала на стене некая чудодейственная рука – с какой готовностью он бросился бы даже в пламя преисподней!

«Но самое тяжкое мучение среди всех этих страданий представляло сознание своего собственного *бессилия*; а между тем человек только тогда может познать свою силу, когда он начнет *делать*. Какая громадная разница между смутной, блуждающей способностью и определенным, решительным поступком! *Дело* – это зеркало, в котором человеческий дух впервые может видеть свои собственные очертания... Поэтому невозможное правило: „Познай самого себя“ – следует заменить другим: „Познай, что ты можешь делать“. Несчастье Тейфельсдрека и состояло в том, что все его дело сводилось к нулю. „Обладаешь ли ты, – спрашивает он себя, – хотя бы такими способностями, таким достоянием, как большинство

людей, или же ты совершенный олух в современном смысле?.. Но, увы! неверие в самого себя – страшное неверие! А каким же образом я мог верить? Разве моя первая и последняя вера в самого себя, когда, казалось, даже небеса лежали раскрытыми передо мною и я дерзал любить, не была разрушена самым жестоким образом? Первоначальная тайна жизни становилась для меня все более и более таинственной... Слабое существо среди грозной бесконечности, я, казалось, имел одни только глаза, и те для того, чтобы видеть собственное злополучие. Невидимая, непроницаемая стена отделяла меня от всего живого... Во всем мире не существовало груди, которую я мог бы с верою прижать к своей... Я наложил печать молчания на уста... Я жил в полном отчуждении от людей. Мужчины и женщины, окружавшие меня, представлялись мне безжизненными автоматическими фигурами, и я жил и двигался среди них, как какой-то дикарь, как тигр в лесной чаще... Мне было бы несколько легче, если бы я мог, подобно Фаусту, вообразить, что меня искушает и мучит дьявол, так как преисподняя без жизни, хотя бы и дьявольской жизни, еще более ужасна... Но в наше время всеобщего крушения и безверия сам дьявол ниспровергнут, и мы не можем верить даже в него... Таким образом, вся вселенная представлялась мне лишенной жизни, цели, желания, даже вражды и стояла перед моими взорами в виде чудовищной, мертвой, неизмеримо громадной паровой машины, вращающей своими колесами с мертвенным равнодушием, чтобы сокрушить и перетереть меня член за членом... О, пустынная унылая Голгофа! О, мельница смерти!“»

В течение долгих лет наш Тейфельсдрек-Карлейль находился в подобном состоянии предсмертной агонии; сердце его, не увлажненное небесной росой, тлело в медленном серном пламени. Он не питал никакой надежды и никакого определенного страха ни по отношению к людям, ни по отношению к дьяволу; и между тем он жил в вечном мучительном ужасе перед чем-то неведомым, готовым обрушиться на него; небо и земля представлялись ему как бы двумя неизмеримо громадными челюстями прожорливого чудовища, перед которыми стоял он, дрожа от страха и каждую минуту ожидая, что страшное чудовище пожрет его... Так сомневался и мучился он. Но вот, пробираясь однажды по грязной маленькой улице «Св. Томаса в преисподней», он вдруг остановился на одной мысли и спросил себя: «Чего же ты страшишься? Зачем, подобно трусу, вечно хнычешь и стонешь, ползаешь и трепещешь? Презренное двуногое! В чем же суть всех ожидаемых тобою бед? Смерть? Ну, хорошо, смерть; прибавь еще мучения преисподней и все страдания, которые дьявол и человек могут и захотят причинить тебе! Но разве у тебя нет сердца, разве ты не можешь перенести всего, что бы ни случилось, и как дитя свободы, хотя бы и покинутое дитя, попать ногами самую пучину ада, когда она разверзнется, чтобы поглотить тебя? Пусть же она разверзается: я встречу и отрину ее!»

И точно огненный вихрь, говорит Карлейль, пронесся в его душе и унес навсегда подлый страх. Он почувствовал в себе неведомую до тех пор силу; он почувствовал в себе живого духа, почти Бога. «Вечное нет» задрожало во всех тайниках его существа, и его я, встав во всем своем природном величии, горячо заявило свой протест. «Вечное нет» сказал: «Взгляни: ты без роду и племени, ты покинут всеми, вселенная принадлежит мне». На это он со всею мощью своего существа ответил: «Я не принадлежу тебе, я свободен и навеки ненавижу тебя!»

Таким образом совершилось знаменитое «крещение огнем». Эти искушения, эта борьба и победа невольно переносят нас во времена давно минувшей старины – так мало общего имеют они, по-видимому, с тенденциями нашего материалистического века; а между тем великий человек, боровшийся «с дьяволом» и победивший его, умер всего десять лет тому назад...

Глава III. Переходное время

Джейн Уэлш. – Позднейшие саморазоблачения Карлеяля. – Дружба с мисс Джейн. – Работа над своим развитием. – Знакомство с немецкой литературой. – Шиллер. – Гёте. – Материальное положение. – Мечты о книге. – Работа в журналах. – «Жизнь Шиллера». – Перевод «Вильгельма Мейстера». – Сатана, нашептывающий мысли о самоубийстве. – Лондон. – Бирмингем. – Париж.

В то время, когда внутренняя борьба Карлейля завершилась, как он выражается, «креплением огнем», он познакомился с Джейн Уэлш, своей будущей женой, в лице которой судьба послала ему достойного спутника жизни.

Джейн уэлш – личность далеко не заурядная. Но ее дарованиям не суждено было развиваться самостоятельно. Она посвятила всю свою жизнь сумрачному проповеднику религиозного обновления, этому непреклонному пуританину, занесенному судьбою в мутные потоки буржуазного водоворота. Его суровый гений, так сказать, подобрал в себя все силы ее возвышенного сердца и тонкого, пронизательного ума, а самое ее обрек на трудную и, если хотите, даже подвижническую жизнь с раздражительным, желчным человеком, всецело поглощенным своим делом, своим служением вечной правде... Некоторые английские биографы находят, что Карлейль уж слишком безучастно относился к своей жене, и обвинения свои строят на словах самого же Карлейля, собравшего после смерти жены все ее письма и снабдившего их комментариями. Нужно заметить, однако, что эти письма, в том виде, в каком они были собраны, не предназначались к печати и что в примечаниях Карлейля отразились слишком тонкие интимные движения человеческой души; их невозможно брать *à la lettre*.² Что Карлейль, потеряв любимое существо, с которым была связана вся лучшая пора его жизни, все его великие произведения, и бросая ретроспективный взгляд на прожитую жизнь, мог взводить на себя даже небывалые преступления, в этом нет ничего удивительного, это даже, можно сказать, в порядке вещей. Но не в порядке вещей, если биограф на основании этих самообличений вздумает составлять свой обвинительный акт и подкапываться под великого человека. Затем не следует упускать также из виду того, что жизнь кажется тяжелой или легкой смотря по тому, с какой точки зрения мы станем судить о ней. С барской точки зрения жизнь светской девушки Джейн Уэлш с сыном каменщика Томасом Карлейлем была, конечно, сущим несчастьем... Но барская точка зрения будет ли, вообще, справедливою точкой зрения?..

Мы не станем вмешиваться в распри английских биографов, из которых одни держат сторону Карлейля, а другие – его жены. Карлейль не зарыл данного ему таланта; он работал над ним, как немногие работают; он посвятил всю свою жизнь этой работе. Джейн Уэлш присоединилась к нему; она пошла за ним; но как более слабая она могла лишь помогать ему. Человечество несомненно только выиграло от союза этих двух лучших своих представителей: оно получило обратно свой талант с громадными процентами. Всякие же гадания относительно того, что было бы, если бы случилось то, чего не было, как могли бы быть счастливы в личной жизни он или она, если бы судьба связала его или ее с другим человеком, и так далее, всякие такие гадания – пустая и даже вредная трата времени...

² в буквальном смысле (фр.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.